

## РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*Януш Добешевский*

Профессор, преподаватель  
Института философии Варшавского университета;  
специализируется на истории философии,  
социальной философии, философии религии,  
русской философии.  
E-mail: [dobieszewski@uw.edu.pl](mailto:dobieszewski@uw.edu.pl)

## THE REVOLUTIONARY NATURE OF THE RUSSIAN REVOLUTION

*Janusz Dobieszewski*

An associate professor;  
Institute of Philosophy, Warsaw University.  
Main works: *Włodzimierz Sołowjow*.  
*Studium osobowości filozoficznej* (2003), *Absolut i historia* (2013).  
His speciality is Russian philosophy and philosophy of religion.  
E-mail: [dobieszewski@uw.edu.pl](mailto:dobieszewski@uw.edu.pl)

Возможно рассматривать русскую революцию в трех аспектах. Во-первых, как внутреннее, «собственное» событие истории России, как результат таких, а не других социальных и политических процессов, особых обстоятельств, противоречий и барьеров исторического развития страны. Во-вторых, как событие в истории России, представляющее более общий тип революционности и также особенно выразительное в качестве примера, урока, предупреждения для остального мира: русская революция открывает в таком случае некоторые более общие правила, угрозы и противоречия общественного развития, которые подсказывают другим обществам необходимые меры для защиты от революционной катастрофы. В-третьих, русская революция является структурной частью более широкого революционного процесса, может быть, даже необходимой и неустранимой; этот универсальный контекст здесь не является — как это было прежде — независимым, хотя аналогичным образцом революционности. Это среда русской революции. Именно с этой точки зрения мы говорим о социалистическом, пролетарском характере русской революции, о реализации в ней (хотя и при условии западного универсального дополнения) марксистской теории и видения истории или о жестокой и решительной фальсификации марксистской утопии.

Статья посвящена этим трем интерпретациям проблемы.

Russian Revolution may be seen in three various ways. Firstly, as an event in the history of Russia, which was caused by its inherent properties and social and political attributes, particular circumstances, contradictions and obstacles in its historical growth. Secondly, as an incident of Russian history which fits into a more general pattern of revolutionary events, but which also may serve as its distinct “sample”, a lesson, a warning for the rest of the world; Russian Revolution thus would reveal more general rules, threats and controversies of social development, thereby suggesting to other societies the necessary preventive acts which would allow them to avoid the catastrophe of revolution. Thirdly, Russian Revolution may be seen as a structural element of a wider revolutionary process, an element that may be indispensable and essential; this universal context is not seen (as previously) in terms of an independent, though analogous example of revolutionary event, but as the decisive environment of Russian Revolution; in this take, we speak of the socialist, proletarian (and before that, bourgeois) nature of the Russian Revolution, of the way it fulfilled the Marxist theory and vision of history (though with a necessity of Western, universal adjustment), or cruelly and irrevocably falsified Marxist utopia.

The article is devoted to these three interpretations of the problem.

**Ключевые слова:** революция, Россия, сборник «Из глубины», Арндт, марксизм.

**Keywords:** revolution, Russia, “De profundis”, Arendt, marxism.

Русская революция — чрезвычайно сложный предмет для упорядоченного и рационального размышления. Во-первых, из-за необыкновенного скопления, взаимного проникновения, динамики происшествий, исторических фактов. Нетрудно увидеть совершенно противоречивые точки зрения на нее — как на неизбежное фаталистическое продолжение событий или как на случайное совпадение случайных обстоятельств; также произвольно само сопоставление известных фактов. «Анархию событий» сопровождает в то же время — и это во-вторых — огромный концептуальный, теоретический и идеологический потенциал русской революции; она может быть включена в различные теоретические, политические и идеологические проекты, контексты и концепции. Каждая последующая попытка осмысления запутывается в обстоятельствах и связанных с ними рисках, но также привносит с собой, по тем же причинам, творческий потенциал — конечно, не гарантируемый, а допускаемый и ожидаемый.

Возможно рассматривать русскую революцию — так и делают — в трех планах:

– во-первых, как внутреннее, «собственное» событие истории России, как результат таких, а не других социальных и политических процессов, осо-

бых обстоятельств, противоречий и барьеров исторического развития страны; революция предстает здесь как постоянная угроза, как спасительный миф или как наказание за «болезнь» русской истории;

- во-вторых, как событие в истории России, представляющее более общий тип революционности и также особенно выразительное в качестве примера, урока, предупреждения для остального мира; русская революция открывает здесь некоторые более общие правила, угрозы и противоречия общественного развития, которые подсказывают другим обществам необходимые меры для защиты от революционной катастрофы или разъясняют — независимо от аналогии — безопасное отличие характера, структуры и динамики этих обществ;
- в-третьих, русская революция является структурной частью более широкого революционного процесса, может быть, даже необходимой и неустрашимой; этот универсальный контекст здесь не является — как это было прежде — независимым, хотя и аналогичным образцом революционности. Это среда русской революции. Именно с такой точки зрения мы говорим о социалистическом, пролетарском характере русской революции, о реализации в ней (хотя при условии западного универсального дополнения) марксистской теории и видения истории или о жестокой и решительной фальсификации марксистской утопии.

Следует отметить, что три аспекта распознавания русской революции не существуют изолированно друг от друга: иногда происходит наложение понятийных полей, что не дискредитирует сам принцип различения. Так обычно и происходит, поэтому требуется постоянно контролировать, что имеется в виду, а не снимать различия как таковые.

Начнем с «русской» перспективы. На самом деле с выступлением Петра Чаадаева («Философические письма к г-же \*\*\*. Письмо 1-ое», 1836) встал на повестку дня вопрос о радикальном, фундаментальном повороте в цивилизационном развитии России. Он созрел и радикализировался в нарождавшихся формах русской социальной философии под влиянием деспотической политики власти, а также не без воспоминаний о народных восстаниях XVII–XVIII вв. В XIX в. революция стала универсальным лозунгом, целью и мифом русской интеллигенции, находя идейно-теоретическое осмысление в различных формах западничества, анархизма, нигилизма, просветительства, народничества и марксизма. Она также активно воздействовала на русский либерализм (программа и идеология кадетов) и на художественные круги. Общая ориентация на необходимость и очевидность революции сдерживалась в конце XIX в. в легальном марксизме и в русской религиозной философии: мыслители этих течений пытались переформулировать концепцию

идейной истории России, политически и интеллектуально проблематизируя вопрос о русской революции. Это нашло реализацию в знаменитом сборнике «Вехи» (1909) и в бурном, хотя в конечном счете безуспешном поиске третьего пути между реакционным радикализмом царизма и революционным радикализмом левой интеллигенции. Своего рода свидетельством этого поражения стал сборник «Из глубины», почти десять лет спустя продолживший дело «Вех» в том же составе авторов. Помещенные в сборнике аналитические материалы и оценки станут в данной статье основой взгляда на русскую революцию как на национальную неизбежность и национальное бедствие.

По мнению почти всех авторов сборника «Из глубины», выдающихся представителей русского религиозно-философского ренессанса, русская революция была неизбежным, естественным результатом ошибок и недостатков русской истории. «Наибольшее обнаружение, — писал Сергей Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции», — злых дезорганизующих сил общественности в моменты революции имеет, конечно, свои порождающие причины в предшествующие эпохи». Более того, революция, «являясь наиболее плодоносящей в отношении зла и обнаруживая его в явных и, так сказать, созревших формах», «тем самым служит и добру» (Из глубины, 1990: 31–32), — даже если только косвенно и только в итоге. Точно такой же позиции придерживались Николай Бердяев, для которого революция — «кара за грехи прошлого, роковое последствие старого зла» (Бердяев, 2012: 24), и Сергей Булгаков: имелось много причин революции, «но сама по себе она была во всяком случае необходимой и благодетельной» (Из глубины, 1990: 102). Им вторил Петр Струве: «Подготовлялась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устройении государства, и интеллигенцией страны с ее близорукой борьбой против государства», но силы революции «в русское развитие вошли не как организующие, созидательные силы строительства, а только как разлагающие, разрушительные силы ниспровержения» (Там же: 241, 243). Вектор разрушения требовал здоровой реакции, как национальной, так и государственной, цивилизационной и религиозной, некоторого — как выразился, в свою очередь, Семен Франк — «нравственного сдвига с мертвой точки» (Там же: 269). Приведем еще слова Александра Изгоева о революции: «Урок получился страшный, но, быть может, иного пути к нашему оздоровлению не было» (Там же: 173).

Революция для авторов «Из глубины» — явление пассивное, репродуктивное, исторически бедное, и это свойство лежит в основе всей кажущейся динамики, истерики, притворных политических и историософских новаций. Лев Шестов писал даже о консервативном и в этом смысле реакционном, вя-

лом характере русской революции, который нивелирует направленный на будущее, авангардный смысл революции как таковой. Особенно интересно, даже эффектно определяет особенность русской революции Бердяев: «Все призрачно. Призрачны все партии, призрачны все власти, призрачны все герои революции. Нигде нельзя нащупать твердого бытия»; философ называет это «неонтологичностью» (Там же: 61) русской революции. В другом месте Бердяев пишет о духе небытия и духе ничтожества, пронизывающем революцию и революционеров.

Метафизический неонтологизм также принимает форму наиболее часто приписываемых русской революции грехов — утопизма и нигилизма. Неонтологичную суть утопизма отлично объясняет в сборнике «Из глубины» Павел Новгородцев: «Каждая утопия представляет собою мечту о всецелом устройении, а вместе с тем и упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый всемогущий и всеисцеляющий смысл, что можно, согласно с этим началом, устроить жизнь по разуму», хотя в свете наших рассуждений было бы лучше сказать здесь «по строгой субъективной перспективе». В любом случае мы получаем здесь «изнасилование на истории», сущность которого заключается в отрицающем жизнь «упрощении жизни» (Там же: 218).

В свою очередь, нигилизм — антропологическое выражение неонтологизма. Нигилизм, как объяснял Бердяев, есть максималистское, радикальное отношение, не считающееся с *ничем* как барьером, границей, тяжелым фактом. Онтологическая пустота и в то же время безграничная амбиция усиливают все проекты и мероприятия до уровня «к концу, к пределу» (Там же: 64), а это в результате создает «почву для смешений и подмен, для лжерелигий», что, кажется, придает революции многостороннее значение и серьезность: пародия, лозунги, фразы предъявляют наиболее далеко идущие претензии к реальности. Эти претензии иногда полны заманчивого размаха и чутья (или скорее болезненной чувствительности и сентиментальности; прославленный литературный пример — спор Ивана Карамазова с Богом относительно слезы ребенка), но смысл их именно антионтологичный, нигилистический: «пусть горит весь старый мир», если он не приносит всеобщего счастья; пусть стремление к всеобщему счастью устранил приносящие несчастье случайность, многообразие и произвольность. «В такое отрицательное абсолютное, пустое и нигилистическое, и хочет повергнуть русская революция всю Россию и всех русских людей» (Там же: 85) (литературное выражение — мир Великого Инквизитора и шигалевщина). Лишенная дисциплинирующего бытия, революция становится в конце концов театром самых временных интересов и намерений, манипуляций, интриг, насилия; революция «отвра-



щает русских людей от реальностей и повергает их в царство призраков» (Там же: 88).

Неонтологичность революции нашла отражение в утопизме и нигилизме революционеров, в антимодернистском упрямстве власти, а также в малости идеалов и поведения народа, который, по замечанию Булгакова, «вдруг оказался нехристианским» (Там же: 129). Народолюбие, убежденность в исторической и моральной силе народа, в том, что он почва России, оказались всего лишь интеллигентскими мифами, скрывающими полное соответствие революционного антионтологизма с настроениями народа. Василий Розанов в «Апокалипсисе нашего времени», возникшим почти в то же время, что «Из глубины», с изумлением писал, что в революции Россия распалась через мгновение, за день, жалко, без возвышенных и трагических моментов.

Интересно, что антионтологический аспект революции повторится много лет спустя в понимании и объяснении конца Советского Союза. Мы находим данный мотив, например, в книге Алена Безансона «Святая Русь», опубликованной в 2012 г., и в других текстах этого автора. Одним из важнейших аргументов в пользу ничтожного, антионтологического характера всей структуры и сущности Советского Союза была для Безансона внезапность и почти незаметность распада СССР. Это оказалось в некотором смысле суммирующим и решительным подтверждением неукорененности коммунизма в бытии, его фиктивности, нереальности, отсутствии связей с реальной жизнью. Как писал Безансон, аппарат Советского государства в начале 1990-х гг. «бросил полотенце и распался. Империя мгновенно испарилась» (Besançon, 2006: 263). На то же обращает внимание сочувствующий, по-видимому, взглядам Безансона Рышард Легутко: «Режим СССР не преобразился ни эволюционно, ни революционно. В какой-то момент СССР исчез, и, учитывая его гигантское могущество, падение произошло почти беззвучно» (Legutko, 1998: 24). Так же произошло с советским марксизмом, который с исчезновением поддерживающей его политической силы рухнул — без всякого сожаления и трагедии — как карточный домик.

Перейдем ко второму способу понимания русской революции, с предположением о господстве универсального контекста, значит, как своего рода революции как таковой, а также предостережения и исторического урока для всего мира. Особенно полезный и эффективный дополнительный инструмент для такого обсуждения — положения, высказанные в книге «О революции» (1963), написанной Ханной Арендт.

Революция, объясняет Арендт, это не простые и даже не резкие преобразования; это «событие, напрямую выводящее нас на проблему начала» (Арендт), долженствующее породить новый порядок. У нее освободитель-

ная задача, направленная против тирании и угнетения, и это отрицательная сторона революции, но завоеванная и реализованная свобода обязательно совпадает с намерением ввести «совершенно новую эру», с «опытом начала чего-то нового», и только тогда это настоящая свобода. Смысл революции в объединении пафоса освобождения с пафосом новизны. А в следующем плане ее сопровождает элемент «насилия» (Там же), момент импульса (Brand, 2010: 292) (удобного случая) и, так сказать, достижения «пункта, после которого возврат к прошлому стал уже невозможен» (Арендт), который приводит к «чувству благоговения и удивления силами самой истории» (Там же).

Революция, по мнению Арендт, это явление Нового времени, и происходила она на арене истории в двух формах — Американской и Французской. Первая наиболее близка к связи освобождения и новизны (начала). Это была к тому же успешная революция — она освободила людей от угнетения и принесла с собой новый политический (общественный) прочный порядок (самоуправление), «совершенно новую эру» и, наконец, «не пожрала своих детей» (Там же). Но эта самая близкая образцу, «правильная» революция — историческое исключение. Нормой стала Французская революция (и даже для описания и оценки Американской). В ней борьба с угнетением почти мгновенно нивелирована моментами насилия и необходимости, вышедшими на первый план благодаря «социальной проблеме», совершенно новой для духа революции и отсутствующей в Американской. Насилие, борьба с нищетой и возрастающая необходимость борьбы за выживание стали опознавательным знаком революции. Сосредоточенность, дисциплина, ответственность, а потом свобода, духовидение и реализм в Американской революции вытеснены во Французской ситуациями, в которых бросалась в глаза «неспособность ни одного из <...> действующих лиц контролировать ход событий, в результате чего он принял оборот, имевший мало, если вообще сколь-нибудь, общего с сознательными намерениями и целями людей, которые, если они хотели выжить, должны были подчинить свою волю и намерения анонимной силе революции» (Там же). Русская революция того же типа, пишет Арендт, что и Французская: она «преподала нам такой наглядный урок сперва кристаллизации лучших чаяний людей, а затем их полного крушения, что и Французская своим современникам»: свобода и новые начала изменились в «двустороннее принуждение идеологии и террора» (Там же).

Казалось бы, социальный момент — борьба с нищетой — явился очевидной и фактической предпосылкой и смыслом революции в России, в отсталой стране, где имел место даже голод. То, что для Французской революции можно рассматривать как вырождение революционного духа — когда уже не свобода, а нищета становится главной политической силой, — для России

представляется полностью оправданным. Концентрация на социальной проблеме, на нищете ведет — как показывает Арендт и что, кажется, в точности объясняет психологический источник и психологическую энергию русской революции — к естественному и даже возвышенному и славному превращению «океана страданий» в «океан сочувствия», а тот — в океан осчастливливающего или, по крайней мере, успокаивающего насилия. Эту «магию сочувствия» («самую опасную из всех страстей, движущих революционерами»), «способность без остатка раствориться в страданиях других» (ценимую выше, чем «активная доброта»), рассматривание жалости как «источка добродетели» (которое «обладает большей способностью к жестокости, нежели сама жестокость») (Там же) Арендт идентифицирует по отношению к Французской революции; однако в большей степени названные черты относятся — и в литературе, и в обычном сознании — к русской действительности. Осуждение у Арендт дешевого революционного сентиментализма совпадает с вышеупомянутой, лежащей у истоков русского революционизма дискредитацией болезненной чувствительности русского интеллигента (ср. у Николая Бердяева анализ религиозного бунта Ивана Карамазова; впрочем, в том же смысле появляющийся и у Арендт).

Но нищета и отсталость как источник и начало русской революции отнюдь не бесспорный вопрос. Этому противоречит в теоретическом плане одно обобщенное и основанное на тщательном наблюдении правило революционных порывов и с практической точки зрения исторические факты из истории России околореволюционного периода. Начнем с первого положения. Согласно довольно широко распространенному взгляду, революции вспыхивают не в момент максимально острого социального кризиса, не в условиях вопиющей нищеты и абсурдной несправедливости, но при первых шагах к выходу из кризиса, преодоления крайнего падения и исправления дисфункционального состояния государства, в ситуации рождения общественных запросов, уверенности в возможности достижения рациональности и эффективности жизни, уверенности в реализации правильных ценностей и возможности критического и творческого расчета с прошлым. Таким образом, революции происходят не тогда, когда общество, кажется, «прижато к стене», когда альтернативой является смерть, хаос и варварство, но когда кажется, что худшее позади, когда возникают возможности и перспективы и когда в то же время политическая власть действует как отсталая сила, рассматривающая эти возможности и перспективы как угрозу для себя. Посмотрим теперь на Россию и уясним сущность достижений политических и социальных, связанных с реформами Александра II, а потом продолжение этого пути реформ под экономическим давлением международной конку-



ренции и под внутренним давлением сил либеральных, революционных и народных, кульминацией чего была революция 1905 г. и последующая попытка Столыпина оторвать Россию от радикализма реакционной власти, с одной стороны, и революционного движения — с другой. Независимо от ошибок, непоследовательности, торможения Россия на рубеже веков стала страной на удивление динамичной, выходящей из веков отсталости, модернизирующейся. Как пишет Ричард Пайпс, «экономические историки согласны, что накануне Первой мировой войны, когда стоимость промышленного производства в России выросла до 5,7 млрд рублей, страна была пятой в мире среди крупнейших экономик, что приходится признать достижением импонирующим, даже если с точки зрения числа населения производительность в промышленности и доход на душу населения были низкими». Пайпс приводит мнение французского экономиста Эдмонда Тери (1912), рассчитавшего, что «если Россия продолжит до 1950 г. такой же, как в 1900, темп экономического роста, то в середине двадцатого века она будет доминировать в Европе с точки зрения политической, экономической и финансовой» (Pipes, 1994: 154). Аналогичное мнение — на этот раз Александра Гершенкрона, также экономиста, который пишет о «впечатляющих достижениях российской экономики в начале XX века», — цитирует Андрей Валицкий (Walicki, 2014: 10).

Бедность, нищета и отсталость, конечно, не отсутствовали во время русской революции, но не как первоначальные, постоянные и решающие факторы. Социальный вопрос вышел на повестку дня — так же, как и во Французской революции — в результате революционной политики как избранная революционная логика или «необходимость» и только потом уже был осознан как естественная необходимость, подразумевающая основы выживания — «еду, одежду и размножение» (Арендт). Таким образом, русская революция следовала здесь по образцу Французской, и этот образец вытеснил другую норму, решительно предпочитаемую Арендт, — гражданскую и либертарную норму Американской революции.

Хотя социальный вопрос и оказался движущей силой революции, действительный источник и цель, освобождающая, конституирующая и приносящая достоинство, не позволяла забыть о себе. Цель эта не забывалась даже в окружении революционных реалий. Арендт писала о «потерянном сокровище» революции, которое тем не менее всегда означало активную и благородную борьбу за «свое», за поддержание начальной, освобождающей, конституирующей, еще не-социальной, не-естественной, не-необходимой сущности революции. Во Франции это революционные союзы и общинные советы, остававшиеся в противоречии с якобинским правительством, в конце концов подавленные центральной властью, причем не столько как реальный

соперник, сколько как воплощение альтернативы революционной нормы (Там же). В России это система советов, сначала поддержанная, а затем нейтрализованная диктатурой партии, и также из-за несовпадения с «революционной и реальной нормой» (как пишет Арендт, это коммуны, Räte и советы, которые «со всей определенностью намеревались пережить революцию» (Там же), и именно поэтому они стали предметом все более резкого давления со стороны централизованного правительства). Конечным моментом сюжета с самостоятельностью советов стало подавление Кронштадтского восстания (1921). Тому, что восстание стало легендой, причиной «неспособность революционной традиции предложить сколь-нибудь серьезное осмысление [этой] единственной новой формы управления, порожденной революцией» (Там же).

Итак, в конце концов революции «во французском стиле» кончались либо какого-то рода реставрацией, либо однопартийной диктатурой. Даже в блестящей Американской революции проект «элементарных республик» (муниципальные дебаты и собрания) оказался испорчен «искажениями и деформациями», что в итоге привело к сужению народной свободы до дня выборов (Там же).

И еще один общий вопрос, связанный с пониманием революции у Арендт. Пафос или масштаб революции зависит у нее, как известно, прежде всего от силы инициации; революцию пронизывает «пафос нового», «пафос начала». Начало имеет в качестве предпосылки отрицание или проблематизацию непрерывности истории, некий разрыв. Новое начало обозначает, как утверждает Арендт, проявление «нового, не связанного с предыдущим, события, вторгающегося в непрерывную последовательность исторического времени» (Там же). Оно также несет с собой определенную «произвольность», «будто оно явилось ниоткуда как во времени, так и в пространстве» (Там же). Пафос начинания, по-видимому, — наиболее важное проявление у Арендт могущества и благородства революции. Но он имеет также, кажется, худшую сторону, которая у Арендт опущена, хотя и обозначена произвольно: имеются в виду великие лидеры, появляющиеся на исторической сцене в «периоды разрыва исторического времени» (Там же). Прежде всего именно они являются носителями революционного произвола, и за этим могут следовать различной ценности решения, но прежде всего руководство позволяет великим лидерам самоутверждаться, что легко принимает форму персоналистической партикуляризации, а затем может формироваться в различные культы личности. В них — и это особенно важно — выступают на первый план биологические и связанные с необходимостью аспекты (семейно-отцовские чувства, поклонение матери-земле, связи крови, традицион-

ные, консервативные ценности и т.д.). Итак, в области, казалось бы, сильно и постоянно связанной с полной революционной свободой-новизны, мы сталкиваемся с потенциальным моментом деградации и вырождения революции, особенно опасным, потому что он находится на самой вершине революционного эйдоса и этоса.

Наконец мы хотели бы обсудить третий взгляд на русскую революцию, при котором глобальный или универсальный фактор важен даже более, чем в концепции Ханны Арендт. Согласно ему, русская революция не является еще одним — хотя и особенно выразительным — примером революции более общего типа. Это своеобразный, оригинальный, даже необходимый структурный элемент более широкого мирового революционного движения. Такой подход, как мы знаем, связан с марксистским форматом русской революции.

Мы оставляем в стороне предысторию проблемы, связанную с народническим видением революции и социализма в России, и сразу переходим к собственно марксизму, что не означает отказа от вопроса об отсталых странах и даже своего рода «привилегии отсталости», на которой народники основывали надежды на великое будущее России.

Одна из первых и наиболее важных работ, в которых формулируется проблема слаборазвитых стран и их значения в историческом развитии капитализма, — «Накопление капитала» Розы Люксембург (1913). По мнению Люксембург, развитие капитализма возможно только в условиях существования некапиталистических рынков, внутренних и внешних докапиталистических форм общественного производства. Без существования некапиталистической среды было бы невозможно расширенное воспроизводство, накопление (сущность капитализма). Эта среда — необходимый капитализму покупатель излишков производства, «реализатор» добавленной стоимости. Но в то же время капитализм в этом процессе ломает, устраняет докапиталистические экономические и социальные формы и втягивает их в рамки капиталистического развития. Тем самым капитализм уничтожает необходимую некапиталистическую среду; развиваясь, он с неумолимой необходимостью сам создает условия своей гибели.

Таким образом, Люксембург доказывала неизбежность краха капитализма в результате его внутреннего движения, однако этот крах вовсе не означает неизбежности социалистической революции. Достигнув объективной экономической границы, капитализм должен иметь «как конечный результат одно из двух: разрушение культуры или переход к социалистическому способу производства» (Luksemburg, 1963: 730). Уничтожение капитализма, открывающее возможность социализма, может привести также и к варварству.

Анализ произведений Люксембург показывает, что «варварское» решение вопроса, по-видимому, тем более возможно, чем ближе капитализм к апогею. Совершенный капитализм делает невозможным любой социальный маневр, это беспомощность, дезинтеграция и уничтожение всех субъектов общественной жизни. Поэтому социалистическое решение было бы связано с существованием некапиталистической среды капитализма. Из этого вытекает, что революция возникает всегда — с точки зрения марксистских ортодоксов типа Г. В. Плеханова — слишком рано, но, с другой стороны, абстрактность, неоднозначность собственно революционной ситуации всегда позволяет очередной Розе Люксембург обвинять конкретный революционный переворот, что он пришел «слишком рано». Так и случилось с ее взглядом на революцию в России в октябре 1917 г.

Присмотримся к размышлениям Владимира Ленина, в некотором смысле продолжающих логику Люксембург. Для Ленина уже нет народнического вопроса о возможности капитализма в России. Капитализм в России — факт. Это не означает, однако, что проблемы, связанные с народничеством, похоронены. Отсталость России и крестьянский вопрос — неустранимые структурные элементы русского капитализма и, следовательно, марксизма. У Люксембург отсталые страны, включая Россию, показаны как необходимая некапиталистическая среда для капитализма; у Ленина в статье «Экономическое содержание народничества» российский капитализм — нечто «вполне уже и окончательно сложившееся» (Ленин, 1967: 521). Ленин основывался на признании того, что важнейшим элементом капитала является его социальный, а не экономический аспект. «Капитал, — писал он в статье «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?», — это известное отношение между людьми, отношение, остающееся таковым же и при большей и при меньшей степени развития сравниваемых категорий» (Ленин, 1967: 222). Россия и отсталые страны у Ленина не внешняя среда капитализма, а его составляющая.

Но отчетливая связь России с капитализмом не позволяет Ленину сделать вывод, что развитие капитализма приведет когда-нибудь Россию к достижению уровня наиболее экономически развитых стран. Развитие капитализма не приносит размывания различий между его неразвитыми и зрелыми сферами; наоборот, различия углубляются. В России видно, что капитализм ассимилирует и использует формы эксплуатации, характерные для предшествующих эпох, и что она становится все беспощаднее и разнообразнее. Благодатной областью для такой деятельности была идеализированная народничеством сельская община.

Таким образом, Россия у Ленина — страна, капиталистическая по природе основных социальных антагонизмов, но этот капитализм специфичен в отно-

шении экономического уровня развития. По сравнению с западным русский капитализм слаб, но его локальная слабость — результат глобальной силы капитализма. Неравномерность развития — структурная черта мирового капитализма, все время воспроизводимая им и особенно полезная для стран с высоким уровнем развития. В этой ситуации шансы на революцию следует искать не в достижении Россией высокого уровня развития капитализма, но в специфике ее места как «самого слабого звена» в мировой капиталистической системе. Конечно, есть надежда на социалистический переход в наиболее развитых капиталистических странах, но у них также имеется потенциал для маневра, способность вытаскивать свои противоречия в отсталые районы. Возможность революции намного выше там, где капитализм слабый — не только как цель революционного удара, но также с точки зрения экономической зрелости.

В России по политическим и социальным причинам (а также в плане общественного мнения) особенно благоприятны условия для революции; гораздо труднее придется на этапе сохранения завоеваний революции; характер этого этапа, его удержание будет зависеть от событий в развитых странах, значит, от проблемы мировой революции.

Сосредоточимся еще на нескольких вопросах, связанных с русской революцией в ее особенно интересном аспекте, а именно на ближайших последствиях, шансах сохранения завоеваний или их репродукции, барьерах и ошибках, возникающих здесь.

Во-первых, некоторый общий вопрос. Возможность социалистической или пролетарской революции была, по Марксу, основана на развитости производительных сил, на экономическом богатстве, созданном капитализмом. Социализм встает на повестке дня, когда экономическая эффективность капитализма «выплескивается» за пределы правовых и политических форм общественно-политической системы. Необходимость капиталистической основы социализма привела Маркса к многочисленным апологетическим высказываниям о природе и исторической миссии капитализма. В «Манифесте Коммунистической партии» читаем: «Буржуазия менее чем за сто лет классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения — какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!» (Манифест). Мы найдем намного больше таких мест у Маркса.

Очень интересны в этом вопросе высказывания немецкого марксиста Карла Корша, сегодня почти забытого, но в 1920-х гг. его имя произносили



вместе с именем Лукача. Корш объясняет в своем наиболее известном тексте «Марксизм и философия»: «буржуазия не смогла справиться со своей революционной деятельностью, с возбужденной общественной энергией», которая должна была быть захвачена новым субъектом — пролетариатом. Здесь можно говорить об «определенном непрерывном революционном процессе, продолжение которого требует изменения общественного субъекта» (Dobieszewski, 1984: 132, 134) с буржуазии на пролетариат и в котором происходит преодоление человечеством естественных ограничений и формирование универсального исторического субъекта. Пролетариат является наследником буржуазии, как в области философии Маркс стал наследником Гегеля. С другой стороны, «наследническое» отношение пролетариата к буржуазии и Маркса к Гегелю приносит пролетариату историческую реальность и субстанциальность, марксизму — философское укоренение и «научный характер», противоположность субъективизма и утопизма, а тому и другому в совокупности — универсальность, опровергающую всякий партикуляризм. В этой ситуации пролетариат охраняет и защищает революционность буржуазии (она сама погружается в реакционерство и мещанское филистерство). Маркс сохраняет размах и инновационную мощь Гегеля (который иначе остается исчерпанным ресурсом европейской философии).

Теперь мы можем повторить формулу о том, что русская революция является продолжением, наследницей или даже завершением Французской, но лишь в смысле охраны и развития этоса революции, продолжения и сохранения более широкого и однородного революционного процесса, элементом которого была буржуазная революция. Однако последняя находится в шаткой и неоднозначной исторической ситуации или реакционного отрицания революционности буржуазии, или пролетарской преемственности революционности буржуазии.

С этой точки зрения встает вопрос о русской революции как социалистической, пролетарской, марксистской, способной сыграть роль необходимой русской затравки мировой революции. Но русская революция потом остается в полной зависимости от мировой полноты пролетарской революции. Именно в этом плане ее интерпретировали Ленин или Лев Троцкий. Русское национальное дело было ими полностью сведено до универсального или интернационального, лишено автономии и самостоятельности. Как пишет А. Валицкий, Ленин «готов был принести Россию в жертву на алтаре международной революции, отказаться от национальных традиций» (Walicki, 2014: 35). Успех или неудача русской революции разрешаются в широком и скорее нерусском измерении, которое и через действия, и через бездействие максимального влияет на русские дела.

Здесь трудно получить какие-либо гарантии. Ленин, а затем и разделяющий его теоретическую и политическую точку зрения Дьёрдь Лукач провозглашают в своих теориях современного капитализма, а значит, империализма, вступление империализма в состояние «исторической тотальности мирового кризиса» (Lukacs, 1998: 545). Крайнее проявление этого состояния — мировая война, ставящая как ближайшую повестку дня «актуальность революции», причем пролетарской. Но одновременно «переход от капитализма к социализму имеет кризисный характер, изобилующий многочисленными шагами назад» (Там же: 503), приливами и отливами революционной волны. Сегодня, объясняет Лукач, русская революция стала для мирового пролетариата плацдармом будущей победы, и теперь задача состоит в том, чтобы «всеми средствами и при любых обстоятельствах удержать государственную власть в руках пролетариата», «сохранить пространство для маневра» (Там же: 523, 524). Кроме того, не чисто пролетарский характер русской революции, значительное участие в ней других социальных слоев ведет к тому, что «она легко может принять контрреволюционное направление» (Там же: 540). Именно в таком направлении русская революция после 1917 г. и следовала: с одной стороны, к эксцессам революционного энтузиазма, с другой — к безусловным контрреволюционным правилам государственной жизни. Ход русской революции в отсутствие мировой обретает в конце концов форму, которую Лешек Колаковский объясняет как существенное изменение акцентов: это уже не русская революция служит революции мировой, но мировая служит русской (Kołakowski, 1976: 489–490).

Еще одно явление послеоктябрьского периода заслуживает внимания, тем более что оно сочетает строгость революционного утопизма с контрреволюционным влечением к дисциплине. Теория Ленина отличается от Маркса либо как позднейшая и русская конкретизация, либо, может быть, как «явно отличная от взглядов Маркса» (Ochocki, 1971: 490–492), и более интересна для нас последняя позиция. Выдающийся польский исследователь марксизма, Александр Охоцкий, отличает рациональную диалектику Маркса, связанную с Гегелем, с подходом «органическим» или метафизическим, принимающим во внимание надперсональные или бессубъектные аспекты исторического процесса (экономические правила, кризисы, последствия, противоположные намерениям, случайные «избытки» человеческой деятельности), от рассудочной диалектики Ленина, в которой на первый план выходит политический, феноменальный, «физический» фактор, и в результате социальное пространство полностью занимают реальные, эмпирические, конкретизированные общественные силы (группы, слои, среды) (Там же). Это позволяет, с ленинской точки зрения, рассматривать каждое событие, напряженность, противоречия общественной жизни как несущие выгоды или потери какой-то социальной группе, как ситу-

ацию, которая, по сути, лишена безотчетности, случайности, но удовлетворяет чьи-то интересы. А при этом вопрос «чей интерес» быстро переходит в «кто виноват»; интерес — только объективная сторона субъективного намерения.

Легко и быстро приводит это к душной, угнетающей, угрожающей общественной атмосфере всеобщей подозрительности, даже если изначально это только общая и даже искушающая форма навязчивого субъективизирования и персонализирования социальных проблем и дилемм. Как выразился по этому поводу Ленин, надо «при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» (Ленин, 1967: 419); вот как комментирует это Пайпс в своей книге о Петре Струве: «на самом деле имеет значение вопрос не о том, верна ли эта идея, но о том, кто из нее извлекает пользу» (Pipes, 2016: 131). В удивительно благосклонной к большевистской революции объемной книге, посвященной экономическим и социальным аспектам русской революции, Людвик Крзивицкий писал, что по отношению к различным ситуациям, происходящим, например, в русской деревне, имеющим глубокие и сложные исторические и экономические причины, в Советской России мы находим очень поверхностную оценку и интерпретацию. Например, сопротивлению кулаков сразу противопоставляется активность и интересы сельской бедноты (Krzywicki, 1922: 124), поощряется ее немедленное практическое действие, даже если не очень ясен смысл и цель этого действия; и это считается правильным, реальным и революционным пониманием проблемы.

На нечто подобное обращали внимание также авторы сборника «Из глубины»; Изгоев писал: «огромные, массовые, стихийно-неудержимые явления» социально-экономической жизни «стали объясняться „контрреволюционной агитацией” правых эсеров и меньшевиков или „саботажем” кадетской буржуазии и интеллигенции». Чуть дальше мы читаем: «Вся экономическая политика русских социалистов сводилась к тому, что все новые и новые и все более широкие круги народа объявлялись буржуазными, мелкобуржуазными и контрреволюционными» (Из глубины, 1990: 170–171). Таким образом, проблема, которую нужно решить, принимает вид врага, которого надо победить. Эта логика общественно разрушительна и в долгосрочной перспективе не опровергнута. Революционная и послереволюционная Россия — поразительный тому пример.

В заключение мы хотели бы добавить, что уроки русской революции оказались, в конце концов, по-видимому, поучительны и эффективны, и выражением этого стал неревolutionный, спокойный, тихий, может быть, немного смущающий, но и дающий надежды и перспективы, направленный на разумное будущее распад СССР. Самая большая геополитическая катастрофа XX века обошлась в основном без жертв.

**Литература**

- Arendt H.* О революции / Пер. И. В. Косич // URL: <http://onrevolution.narod.ru/arendt/index.html> (дата доступа: 21.12.2018).
- Бердяев Н. А.* (2012). Философия неравенства / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации.
- Из глубины (1990). Сборник статей о русской революции. М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Ленин В. И.* (1967). Экономическое содержание народничества // Ленин В. И. ПСС. Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии // URL: <https://socialist.news/assets/pdf/manifest.pdf> (дата доступа 21.12.2018).
- Besaçon A.* (2006). Tezy o Rosji minionej i obecnej // Besaçon A. Świadek wieku. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu / Red. F. Memches. Warszawa: Fronda. T. I.
- Brand M.* (2010). Rewolucja bolszewicka w myśli Hannah Arendt: od obietnicy wolności do totalitaryzmu // Totalitaryzm XX wieku: idee, instytucje, interpretacje. Kraków: Wydawnictwo UJ.
- Dobieszewski J.* (1984). O marksizmie Karla Korsch'a // Studia Filozoficzne. № 6 (223).
- Kołąkowski L.* (1976). Główne nurty marksizmu. T. II. Paryż: Instytut Literacki.
- Rosja sowiecka pod względem społecznym i gospodarczym (1922) / Red. L. Krzywicki. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze «Ignis».
- Legutko R.* (1998). Gnoza polityczna: Besaçon i Voegelin // Gnoza polityczna / Red. J. Skoczyński. Kraków: Księgarnia Akademicka.
- Lukacs G.* (1988). Historia i świadomość klasowa / Przeł. M. J. Siemek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Luksemburg R.* (1963). Akumulacja kapitału. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Ochocki A.* (1971). Dialektyka i historia. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Pipes R.* (2016). Piotr Struwe. Liberał na lewicy (1870–1905) / Przeł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Pipes R.* (1994). Rewolucja rosyjska / Przeł. T. Szafar. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Walicki A.* (2014). Miejsce ekonomii w moim ujęciu intelektualnej historii Rosji. Próba zwięzłego podsumowania // Przegląd Humanistyczny. №3 (444).

**References**

- Arendt H.* O rewolucji / Per. I. V. Kosich // URL: <http://onrevolution.narod.ru/arendt/index.html> (data dostupa: 21.12.2018).
- Berdyayev N. A.* (2012). Filosofiya neravenstva / Sostavitel' i отв. red. O. A. Platonov. M.: Institut russkoj civilizacii.
- Iz glubiny (1990). Sbornik statej o russkoj rewolucji. M.: Izd-vo Mosk. un-ta.
- Lenin V. I.* (1967). Ehkonomicheskoe soderzhanie narodnichestva // Lenin V. I. PSS. T. 1. M.: Gos. izd-vo polit. lit.
- Marks K., Ehngel's F.* Manifest Kommunisticheskoy partii // URL: <https://socialist.news/assets/pdf/manifest.pdf> (data dostupa 21.12.2018).